

СЕРДЦЕ ОСИРИСА



ЛЮДМИЛА ПРОХОРОВА
Родилась в 1990 году в Москве. Окончила Государственную академию славянской культуры (ныне РГУ имени Носыгина) по специальности «искусствоведение». Редактор

портала «ГодЛитературы.РФ» (спецпроект «Российской газеты»). Участник Форума молодых писателей России и стран зарубежья (2016, 2018). Финалист литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина (2017).

Для А. Р.

Часть 1. Мирон

Все их боги были богами войны. У главного из них, верховного божества Фарьяраду, было белое сердце. Да, абсолютно белое. И к нему черной нитью была привязана усса. Не у всех есть усса, не каждому человеку и богу она дана. Жить без нее можно, но ровно в тот день, как узнаешь, что у тебя ее нет, сразу и погибнешь. Но ничто не может погубить того, у кого нет уussy, пока он не знает, что лишен ее. А тот, кто обладает ей, — хрупче костяного фарфора, хрупче высушенного листа... Но только тот бог, у кого есть усса, может возвращать жизнь: бессмертные не умирают, но и воскресения даровать не могут. Спрашиваешь, как понять, есть усса или нет? Т-ш-ш. Неправильный вопрос. Значит, ты плохо меня слушал. Ответа на него нет. Ответ на него знать нельзя. Надо жить так, будто она у тебя есть. Иначе все не имеет смысла? Да, иначе все не имеет смысла. Вот и боги жили так, будто усса была у каждого из них. Но сражались друг с другом без страха. Ведь если падут — то окажутся правы, и по полноте их уussy будет им рассчитана полнота блаженства, а если нет — будут бессмертны. Что-что? Почему ты думаешь, что если они победят, то поймут, что

непобедимы, а значит, у них нет уussy, и?.. Тот, кто не погибает в бою, не обязательно непобедим. Он просто сильнее. Фарьяраду потому и был верховным божеством, поскольку был сильнее всех. Он никогда не проигрывал. Но усса у него была. И белое сердце, да. А еще он умел отличать добро от зла в его переменной природе. За что и с кем сражались боги? Ты все время меня перебиваешь! Не даешь течь истории так, как есть, не даешь всему своего времени. Как, например, есть время добра и время зла. И время между ними. И только Фарьяраду мог безошибочно отличать, что есть добро, а что есть зло. И поэтому только он мог судить. Все боги приходили к нему на суд. И Фарьяраду взвешивал добро и зло, добро — в левой руке, а зло — в правой, и говорил, чего больше. И тот, кто нарушил баланс зла, должен был принести покаяние. Почему они были богами войны? Потому что не было для них другой реальности, кроме войны. А почему... Хватит этих бесконечных «почему», слушай дальше. Кроме Фарьяраду, одним из главных божеств был Махнавай. Он менял ход истории, он был одновременно везде и сразу. Он мог говорить с растениями и с животными, с душами и со стихиями... А еще был Сатим, который забирал жизни... Что значит «какой мерзкий»? Опять ты делаешь выводы, не дослушав. Сатим мог забрать не только чью-то жизнь,

но и чью-то смерть. Умереть вместо. И тогда душа его пускалась по ветрам времени, и просыпался он вновь, не помня, сколько месяцев, лет или столетий прошло, не помня ничего. А ведь воспоминания – самое ценное, что было у него. То, чем он жил, и то, что забирал у других вместе с жизнью. Ведунья Велена предсказала ему, что в день, когда он познает смысл и закономерность всего, он станет верховным божеством вместо Фарьяраду и правление его будет величайшим из всех, но самым коротким. Закат, последующий за днем, когда он станет правителем, станет закатом жизни: после всеведения все вернется в пустоту. Таков баланс. Сатим был самым мудрым, пока жил, а когда перерождался – становился самым глупым. Не веришь, что что-то могло стоить забвения? Поэтому что ты еще мал. Бывают вещи, которые стоят того, чтобы начинать все заново...

В дверь постучались нетерпеливые костяшки пальцев. Не дожидаясь ответа, Василиса повернула ручку и вошла в комнату. Мирон сидел в кресле с ногами, дырка в носке на большом пальце бросилась в глаза. Форма ногтей – ее, хотя своим она его давно не ощущала. Омир лежал на кровати, закинув руки под голову. Когда вошла мать, он встрепенулся, скоро приподнялся на локтях, посмотрел обреченно.

– Мальчики...

Голосу не шла сдержанность, он становился неестественным. Зато естественным, иступленным он был, когда она заводилась. Хватало малейшего повода, и тогда она отпускала себя и была вне себя собой.

– Омир, ты опять меня обманул! Ты еще не сделал английский! Сколько раз тебе говорить, что если ты не будешь учиться, то ничего путного из тебя не выйдет. Ведь дело не столько в знаниях, сколько в упорстве, дисциплине, умении преодолевать себя... Мирон, что ты молчишь?! У твоего брата завтра контрольная, а он весь вечер слушал твои побасенки.

– Мама, это не побасенки! – вскричал Омир.

– А я не к тебе сейчас обращалась!

– Да как же не ко мне...

Посмотрела на сына угрожающе. Омир притих. Мирон лениво, игуаново неспешно растягивая шею, повернулся к ней. Изуродованная, зарубцованная красота его лица – шрамы, остановившиеся только у скул, – вновь колкой болью пронзила сердце. И ноющее чувство вины потянулось следом. Не уследила, не уберегла. Перед

глазами встал их дом на озере, в котором в тот день ей стало омерзительно все до последней балки. Тогда она поняла, что муж не верен ей, что он ей больше не близок, он – чужак, притворившийся своим. И она хотела поджечь комнаты, бывшие когда-то свидетелями их счастья, но много больше – его обмана, но не успела. Дух огня принял в тот день другую жертву: ее семилетний сын с соседским мальчишкой, бывшим на два года старше, пошли прогуляться к заброшенному участку. Сосед спрятал под курткой розжиг. Хотели разжечь костер, устроить шалость, но что-то пошло не так. Синтетическая футболка со смешной уткой в кроссовках вспыхнула. Мирон кричал, соседский мальчишка кричал, она, услышав это издали, отбросила садовые ножницы, которыми с остервенением срезала огромные, пошло отцветающие пионы, и помчалась на звук сыновьева голоса. Горящая футболка липла к его маленькой груди, пламя обдавало шею, он тянул ее вверх, снять, снять быстрее с себя, запах опаленной плоти, подкатывающая тошнота, Мирон продолжал кричать и в итоге потерял сознание. Затем – реанимация, десяток операций, беседы с психологом, ежедневные упражнения, чтобы шея оставалась подвижна. Ее сын стеснялся себя, ненавидел. Мирон замкнулся в себе, и это вновь замкнуло их с мужем внутри семьи. Они снова нуждались друг в друге. Но лишь на время. Еще через семь лет их общее время окончательно истекло.

Она тогда поступила гадко, Мирон был вправе ее ненавидеть, вправе захотеть остаться после развода с таким во всем внешне правильным и оскорбленным отцом. Это был ее выбор, и она готова была заплатить за него эту цену.

Василиса хорошо помнила день, когда сидела в кофейне торгового центра, наблюдая за тем, как неуклюже, но старательно передвигает свою ходилку совсем еще маленький мальчик, а рядом невозмутимо идет его мать. Она тогда подумала, какая же это трагедия – большой ребенок, который никогда не станет здоровым, а затем удивилась другим, пришедшим на смену тем, мыслям. Это неважно, это не имеет значения. Все эти мечты о том, что твое порождение будет прекрасным, талантливым, оставляющим после себя потомство, но главное – успешным, устроенным в жизни, пусты. И разве только в того, кто способен оправдать надежды, подать на старости лет этот набивший оскомину стакан воды, кружку чая, бутылку просекко, нужное подчеркнуть, стоит вкладывать силы? Только правильные дети достойны усилий

и любви? Нет, нет, все это не то. Не то. У нее был Мирон, но Мирон был не только у нее, но и у ее нелюбимого уже мужа, а она вдруг остро захотела чего-то только своего, чего-то очень неправильного и очень своего. Она хорошо помнила день, когда оставила свой номер таксисту, который вез ее из снежного Скарятинского переулка, где они жили с мужем, на снежную панельную окраину, где был дом ее родителей. В другой раз, на заднем сиденье его машины, она запомнила запах резкого одеколлона и пота в его яремной ямке и значение его киргизского имени, потому что самого имени она не запомнила. «Мир и покой». Она хорошо помнила день, когда сказала мужу, что ждет второго ребенка, и он смотрел на нее с плохо скрываемым испугом и неудовольствием, и она ненавидела его за этот взгляд, полную противоположность тому, которым он встретил новость о том, что у них будет Мирон. Она ненавидела его за эту слабость воли, слабость чувств к ней, слабость жизни, наконец, ведь жизнь, черт ее возьми, должна продолжаться. Она ликовала от того, что вскоре избавит его от необходимости прятать эти свои слабости. Потерпи немного, милый, скоро ты будешь свободен... И она хорошо помнила день этого освобождения. Она вышла на крыльцо роддома с плаксивым кулком в руках, муж взглянул на ребенка и побелел. «*Это не Петр*», – только и нашелся сказать он. «*Нет, не Петр*», – едко, преисполняясь гневом и отмщением, ответила она.

– Мама? – До нее донесся озадаченный голос Омира.

Василиса дернула плечом и пришла в себя.

– Иди за английский, Омир! – строго скомандовала она, а затем мягче добавила: – Мирон, я тебе с собой заверну творог от бабушки. Она специально тебе передала.

– Mam, не надо, испортится, я завтра уезжаю.

– Куда?

Он смотрел на нее как-то... она не могла понять этот взгляд. Василиса испугалась.

– Что случилось?

– Ничего. Командировка.

Он вновь был в панцире. Бронирован, недостижим. Она не отступила, попробовала расковырять:

– Куда? У вас же открытие выставки на днях.

Омир, подошедший к двери, но остановившийся в проходе, тоже озадаченно подал голос:

– Да, куда, Мирон?

– Омир! Кыш за уроки, кому сказала?!

Мирон молчал. Василиса знала, что он не из врунов, но сердцем чувствовала неладное. Что-то

не то. Слишком вязким было это молчание, слишком липким, как пот страха, как жир, к которому пристаёт копать... И вдруг она догадалась.

– Не отпущу! – закричала, подбежала к креслу, добела вцепилась пальцами в черную толстовку сына. – Не отпущу!

Он посмотрел на нее непонимающе, даже возмущенно, с затаенной злобой.

– Mam, отпусти меня. Ты чего? В Ростове планируют открывать филиал, ты об этом знаешь. Неделя-две. Не я же куратор выставки. Ты меня пугаешь.

Василиса не верила ему, но боялась ходить по этому тонкому льду. Они и так слишком долго, сантиметр за сантиметром, вновь выстраивали путь друг к другу, и если сейчас неосторожно сломать его, то она провалится в прорубь, из которой уже не выплывет. Да, сверху вновь зарубцется холодная кромка, но для Мирона она уже будет навек погребена под, и что бы она ни говорила, что бы она ни кричала ему, это останется неслышанным.

– Ладно.

Она отпустила его. Мирон поднялся с кресла: выше на голову, хотя и сама она была не из миниатюрных.

– Не надумывай, все будет хорошо. А мне и правда пора.

Сказал спокойно, но не успокаивающе, буднично, будто ничего и правда не происходило.

– А творог все-таки возьми, хоть на вечер. Я положу.

Василиса ушла на кухню. Мирон, окинув взглядом комнату своего детства, которая теперь стала комнатой детства Омира, и только люстра и кровать с наклейками на спинке напоминали о прошлом, вышел в коридор. Брат подошел к нему и пристально следил за тем, как Мирон завязывает шарф, надевает куртку, проверяет, на месте ли перчатки. Шнуруя ботинки, Мирон позвал его к себе и зашекотал ушную раковину своим дыханием: «*Запомни хорошо, что я тебе рассказал, Омир. Это был последний раз, когда я рассказывал эту историю. Теперь она – твоя, ты – ее хранитель*». Омир хлопал черными ресницами, почему-то испуганный и растроганный одновременно. Он прислонился к щеке Мирона своей щекой и попросил: «*Возвращайся скорее, пожалуйста, я тебя очень жду*». И в отражении высокого трельяжного зеркала его некрасивое смуглое лицо показалось Мирону необычайно красивым.

Когда он вышел на улицу, воздух был терпок, древесен и пьянщ. В рюкзаке подпрыгивал полупустой контейнер с творогом, позвякивали ключи. Почему-то невозможно захотелось красного вина и горячего хлеба с топленным маслом, а затем прийти в съемную квартиру, лечь не раздеваясь в постель, и долго-долго спать, и видеть сны, которые давно ему уже не снились. И почему только? Интересно, а там, куда он отправится завтра, ему будет что-то сниться? Мирон не боялся, он даже ждал того, что должно случиться. И чем горячее отец призывал его из динамика телефона: *«Уезжай, я все оплачу! Никто не заставляет тебя жить со мной и с Дашей, но, в конце концов, устройшься в музей и в Армении, выучишь армянский! Воздух прекрасный, вино! А там и в Европу переберешься»*, тем меньше он боялся и сильнее ждал того, что произойдет. И ненавидел отца за его слова так же, как, должно быть, когда-то ненавидела его мать. Люто, ослепленно. И презирал все это показное миролюбие, весь этот шкурный прагматизм, всю эту расчетливость, стремление к комфорту и даже то, что во многом отец был прав. И это Мирон ненавидел еще сильнее. Он ненавидел отца за то, что тот когда-то предал мать, и мать, которая предала в ответ, и то, что их целое разбилось вдребезги, и то, что ему пришлось выбирать, когда он не был к этому готов, и он выбрал отца, а тот незаметно, женщина за женщиной, «важное дело» за «важным делом» отдался от него – и до сих пор в свои двадцать пять он, Мирон, чувствует себя обиженным сосунком, который все никак не может оправиться от детских травм, от своей уродливости, от своей инаковости, от своей слабости. И когда он не собран, не представительен, не убедителен, эффективен и холоден, он размазан. А он не хотел быть таким, он не хотел быть слабым. Он вовсе не хотел быть.

Мирон остановился перед окнами тесного и темного бара Vardo, куда часто заходил после визитов к матери и брату и где часто заставлял ее. Сегодняшний день не стал исключением.

Часть 2. Она

Она сидела у стены за треугольным столиком. Форма, не предполагающая присутствия другого, резко очерчивающая личное пространство острым, угрожающе направленным углом. Первый раз, когда она здесь одна. Все другие вечера с ней находился пожилой, лет на тридцать-сорок

старше нее, мужчина. Впрочем, она и сама была полностью седая: длинные белоснежные – должно быть, она была блондинкой? – волосы, заплетенные в две косы, как сейчас уже не носят. А лицо – молодое-молодое, практически юное. Как такое возможно? Мирон зашел внутрь, сел рядом с ней, хотя во всем зале сегодня больше не было никого. Почувствовал себя неуютно. Как на ладони. На пару минут спрятался в меню, пусть заранее и знал, что именно хочет взять. Сделал заказ. Сидел, разглядывая ладони. Украдкой посмотрел в сторону, на нее, и неожиданно столкнулся с ее прямым, изучающим взглядом. Хотел было резко отвернуться, но заставил себя этого не делать. Мирон улыбнулся. Она не улыбнулась в ответ, но продолжила смотреть.

- Вы из-за этого? – Он сделал движение ладонью вверх-вниз напротив своей шеи.
- Что? – вопросительно нахмурила брови.
- Вы из-за ожогов так смотрите?
- Да? Я даже не заметила, – ответила как-то рассеянно, но взгляда не отвела.

Хотя в баре и стоял полумрак, не заметить такого увечья было невозможно. Но и на лукавство это похоже не было. Мирон не знал, что еще сказать, и отвернулся, чувствуя кожей ее испытующий, пробирающий до мурашек на загривке взгляд.

- Вы сегодня одна, без мужа? – набрался откуда-то решимости. Какая, в сущности, разница: испортит он все или нет, если они больше никогда не увидятся.
- Он мне не муж.
- Простите, ваш спутник.
- Он мой сын.

Мирон не смог сдержать смешка. Получается, она уже второй раз беззастенчиво обманула его всего за пару минут. И зачем только?

- Не верите? – Голос ее был глубокий, с какими-то неправильно выстроенными интонациями, словно язык ей был не родной, хотя говорила она без акцента.
- Это не мое дело, но скорее вы похожи на его дочь, даже на внучку, чем он на вашего сына.
- А он, тем не менее, мой родной сын.

Она была серьезна. А еще от нее пахло ирисами... и миррой. Ему принесли бокал, наполнили на треть вином. Почему-то Мирону вспомнилось, как у Марка было написано, что перед распятием Иисусу давали пить вино с миррой, но он не принял. Мирон пригубил.

Она вдруг пересела к нему за столик.

– Хотите, кое-что расскажу? Но за это вы скажете кое-что о себе.

Он был заинтригован.

– Ну, давайте...

– Давай на «ты»?

– Хорошо.

– Я сегодня одна, потому что у моего сына, Даниила, важный концерт. Он композитор, очень хороший композитор, и я это говорю не как его мать. Современная академическая музыка. Он долго шел к этой симфонии, наверное, всю свою жизнь. «Сердце Осириса». Она его прославит. А я сегодня не пошла с ним, потому что хотела увидеть тебя.

– Но как вы, как ты узнала, что я сегодня приду?

– Я много чего знаю... Я уже сбилась со счета, сколько столетий я живу...

– Это шутка?

Глаза у нее были яшменные. Может быть, она вообще альбинос? Но тогда бы они были прозрачно-голубые. Линзы? А может быть, она патологическая лгунья? Все происходящее приобретало привкус чего-то ирреального, неправдоподобного. Может быть, он сам не заметил, как уже пошел десятый бокал?

– А какая разница: шутка это или нет?

– Я бы хотел узнать что-то настоящее.

– Ну, тогда слушай дальше. Когда-то давно я совершила ужасную ошибку. Как ты понимаешь, это будет история о любви, о чем же еще, все очень банально...

Он усмехнулся: куда уж банальнее? Красноглазая незнакомка в пустом баре утробно-переливчатым голосом рассказывает что-то о своем великовозрастном сыне и о столетиях жизни.

– Он был мне ближе всех. И ближе никого не было нужно. Когда его долго не было рядом, я испытывала физическую боль. Мне казалось, что я потеряла сама себя, что любить так сильно – так неправильно. Это делало меня слабой, нецельной. Я чувствовала себя так, будто какая-то часть меня всегда отсутствовала, словно из меня вырвали кусок, и рана переставала ныть только тогда, когда мы были вместе. И я поняла, что должна покинуть его, пока любовь меня не разрушила или пока он не стал невыносим мне... И я ушла от него, ничего не сказав, не объяснив, не оставив никакого знака. Я не знаю, искал ли он меня, но я ушла так далеко, что найти меня он все равно бы не смог. Я не знаю, чувствовал ли он что-то похожее на то, что чувствовала к нему я. Но

я – больше никогда. Больше никогда я не испытывала ни к кому ничего подобного. И я была сильной, и я была неуязвимой, и я была беспредельной... и несчастной.

– А откуда взялся сын?

Мирон почувствовал укол ревности. Эта безымянная девушка была ему никем – случайная собеседница, которую он даже не мог назвать красивой: было в ней что-то пугающее, не прельстительное, не женственное. И то, что она говорила, надо было делить даже не на два, а на сто. Слишком фантазмагорично. Но стоило ей только упомянуть о том, как она любила кого-то до беспамятства, как Мирон испытал раздражение и досаду. Вновь детские обиды давали о себе знать, били по сердцу тарелками заведенной обезьянки, и оно само словно звенело в груди, стискивалось и разжималось. Дзинь-дзинь-дзинь.

– До сына я еще дойду...

Она как-то излишне весело улыбнулась, бесцеремонно взяла его бокал и сделала глоток.

– Зинфандель, обожаю его.

– Забирай, если хочешь.

– Нет, спасибо. Лучше возьми мне такой же. Угостишь?

– Так быстро меня еще никто не разводил...

Мирон обескураженно тряхнул головой, но официанта все-таки подозвал и попросил повторить. Все то время, пока им несли бокал и бутылку, она молчала и неотрывно, почти не моргая, смотрела на него, а затем как ни в чем не бывало продолжила.

– Так вот... Все это время без него я была легка, вольна и несчастна. Я даже хотела найти его и вернуться к нему, но он исчез. Его нигде не было. И тянулись годы и десятилетия. Пока однажды, когда я совсем потеряла надежду найти его, он не вернулся. Точнее, это был определенно он, я знала точно, что это он, но он не помнил меня. Он как будто проживал совсем другую жизнь, в которой никогда не существовало меня. И это было так больно. Я даже не знаю, что было больнее – любить или быть забвенной для того, кого любишь...

– Дай угадаю. – Мирон уперся локтями о стол, подперев подбородок ладонями. – Вы снова воссоединились.

– Не угадал.

Он вдруг почувствовал, как ее нога задела его ботинок. Она заигрывает с ним или случайно?

– Он продолжал жить свою жизнь без меня. У него была другая, и он был верен ей, а я страдала.

А потом он вновь исчез. И вновь я встретила его, перевоплощенного, сквозь годы и века. Он не помнил меня, и мне приходилось начинать все заново, раз за разом, преобразование за преобразованием... Но я не успевала. Он всегда исчезал раньше. И в один день он исчез насовсем. Время шло, а он больше не появлялся. Его больше не было, и тогда я захотела создать ему замену, создать что-то свое, что я смогу любить, но без страха раствориться в этой любви. Что-то, что будет частью меня, той частью, которая будет нуждаться во мне всецело, но когда придет время, я смогу отпустить ее, не сбежать, но отпустить, ты ведь понимаешь меня? Я не буду цепляться за эту часть – ведь это мое порождение, и мое дело – давать, а не забирать... И родился сын.

- Как у моей матери...
- Ты осуждаешь ее?
- Нет. Точнее, да. Раньше осуждал, но теперь я ей благодарен. Я люблю брата почти так, как если бы он был моим сыном. Я не знаю, каково это – быть родителем, но мне кажется, что когда я с ним, то я испытываю схожее чувство. С ним я лучше себя самого. Я добрее, мудрее, я старше, я свободнее в том, что говорю. Мир хороший. Он гораздо лучше меня. Если завести его мать надоумил бес, то в итоге в этом оказался божественный умысел...
- Ты веришь в бога?
- Ее глаза сверкнули как-то настороженно.
- Нет.
- Вот и славно. Тогда твоя очередь рассказывать кое-что...
- Мне кажется, что твоя история оборвалась на полуслове.
- А разве самое главное – не то, что осталось несказанным?
- Не знаю. Не всегда.

Она сделала глоток, затем второй, третий. Залпом осушила свой бокал. Ее нога вновь задела его. Ему вдруг захотелось вытянуть руку, взять ее пальцы в свои, сжать их крепко и не отпускать. Но он не сделал этого. Она молчала и ждала.

- С чего начать мое кое-что?.. Пусть будет почти с начала. В школе меня называли Фредди Крюгером.

Она непонимающе напярнула лоб.

- Персонаж фильмов ужасов с обожженным лицом. Я не любил школу, хотя был отличником. Им повезло, что не пришлось тянуть меня из жалости, я сам тянулся к знаниям, но был гу-

манитарием до мозга костей. Лучше бы любил математику и программирование. Это больше структурирует, надо просто делать, а не рефлексировать... Мама надеялась, что я найду отдушину в искусстве – я ходил в художественную школу, и у меня действительно получалось. Не что-то выдающееся, но все равно. В университете у меня уже была кличка Дискбол. Я был единственным парнем-искусствоведом на курсе. Девушки считали меня странным. Многие жалели. Но жалость противна.

- Почему Дискбол?
- Из-за скульптуры. Мирон из Елеффер. Я делал по нему доклад на первом курсе. Мы пошли в Пушкинский музей. Стены цвета ягод боярышника. И белый слепок, воссозданный из четырех близких к бронзовому оригиналу римских повторений. *«Он склонился в движении метания, повернул голову, смотря на свою руку, держащую диск, и слегка согнул одну ногу, как будто готовясь выпрямиться одновременно с ударом».* Лукиан. Зачаровывающие линии, но мне всегда казалось, что он падает, что это не напряжение перед броском, а момент перед обрушением. Я сказал об этом. Преподавательница с пластырем на носу после ринопластики фыркнула: *«Учитесь не говорить о том, что кажется вам. Это непрофессионально».* Однокурсницы улыбались. И только Римма смотрела на меня заворуженно. И у меня было чувство, что я говорю только для нее. И недовольной преподавательницы нет, как нет и всех остальных. Есть только диск, сжатый неуклюжими, неживыми пальцами, и овал ее лица... Мы начали встречаться практически сразу после поступления. Ей почему-то нравилось, что я такой. Она говорила, что я, как феникс, возродившийся из огня и пепла. А она была водной. Рыбы по знаку зодиака, все эти камни, натальные карты, гороскопы. Ей нравилось во все это вникать, сопоставлять. Милая глупость, придававшая ей еще больше очарования. Нам было хорошо вместе, мы строили планы на то, чем займемся после университета, какие страны, какие музеи посетим. На втором курсе отец сказал, что хочет, чтобы я продолжил обучение в Лондоне, он все устроит, оплатит, только согласиться я должен сразу, второй раз он предлагать не будет...
- Ты согласился?

В ответах фар проехавшего автомобиля у нее в ушах блеснули золотые серьги в форме табличек с шумерской клинописью.

маленький ты цепляет наклейки к спинке кровати, а маленький я смотрит в потолок, на тень от люстры, и кричит: *«Мама, это жар-птица!»*

Я шел долго. Я шел мимо высотных домов и низких бараков, мимо выложенных живыми растениями витрин и заколоченных дверей, мимо мест, заполненных музыкой и смехом, и мест, где стояла мертвая тишина, мимо дорог и лесов, мимо каналов и рек, мимо плохо закрытых люков, мимо шлабгаумов, мимо трехруких ветряных мельниц, мимо сотовидных вулканов ТЭЦ, мимо церквей и мимо сгоревших полей, мимо объявлений о пропаже с моей фотографией на них... Мама искала меня, а я искал тебя, Мирон. И вот когда я почти выбился из сил, когда я упал на снег, зарывшись в него лицом, я услышал голос. И голос спросил: *«Готов ли ты отдать свою земную жизнь за жизнь брата, Мирон? Жизнь за жизнь. Сия цена есть. И только эта цена должна быть уплачена»*. И я закричал: *«Да, да! Я готов, Фарьяраду, я готов! Возьми меня вместо него, возьми меня!»* Снег забивался ко мне в рот, губы немели, я кричал сквозь эту ледяную кашу: *«Возьми меня!»* И тогда божеество Фарьяраду явилось мне. Оно было ужаснее, чем я его представлял: с белыми развевающимися волосами, с красными глазами – оно было пламенем и пеплом. Оно вошло в меня и сожгло изнутри. И я перестал быть собой.

Я люблю тебя, брат. И в прошлом, и в настоящем, и вне времени. И я говорю тебе это из молчания, Мирон, из бессловесности. Я больше не мальчик. Я почему-то знаю такое, чего знать не должен. Мне кажется, что я знаю все. Мне кажется, я и не человек вовсе, Мирон. Я что-то большее или я что-то меньшее, чем человек? Что я теперь? Со всем этим еще предстоит разобраться. А пока... Знай, что ты был мне вместо отца. И я благодарен тебе за то, что ты меня не отверг, за то, что был со мной. И я знаю, что ты услышишь меня сейчас, как я слышу звонок в дверь, и вижу, как мама открывает ее и припадает плечом к стене. На пороге – ты. И она плачет и смеется: *«Мирон, ты вернулся? Как же это может быть так, Мирон?»* И я тоже плачу и смеюсь. И я счастлив, брат. Ты вернулся. Ты воскрес.

